

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
2019-2020 УЧ. ГОД
7-8 КЛАСС**

**Время выполнения работы – три астрономических часа.
Внимательно прочитайте задания. Распределите время, чтобы успеть выполнить оба задания.**

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте рассказ Григория Горина «Ежик – история о напрасной суете». Напишите целостный анализ этого рассказа, отвечая при этом на вопросы (можно отвечать на вопросы в любом порядке):

- 1. Как вы понимаете последнюю фразу рассказа?**
- 2. Какую роль в рассказе играет противопоставление взрослого и ребенка?**
- 3. Как вы понимаете название рассказа?**
- 4. Какую роль играют в рассказе приемы комического?**

Папе было сорок лет, Славику — десять, ёжику — и того меньше.

Славик притащил ёжика в шапке, побежал к дивану, на котором лежал папа с раскрытой газетой, и, задыхаясь от счастья, закричал:

— Пап, смотри!

Папа отложил газету и осмотрел ёжика. Ежик был курносый и симпатичный. Кроме того, папа поощрял любовь сына к животным. Кроме того, папа сам любил животных.

— Хороший ёж! — сказал папа. — Симпатыга! Где достал?

— Мне мальчик во дворе дал, — сказал Славик.

— Подарил, значит? — уточнил папа.

— Нет, мы обменялись, — сказал Славик. — Он мне дал ёжика, а я ему билетик.

— Какой еще билетик?

— Лотерейный, — сказал Славик и выпустил ежика на пол. — Папа, ему надо молока дать..

— погоди с молоком! — строго сказал папа. — Откуда у тебя лотерейный билет?

— Я его купил, — сказал Славик.

— У кого?

— У дяденьки на улице... Он много таких билетов продавал. По тридцать копеек... Ой, папа, ежик под диван полез...

— погоди ты со своим ежиком! — нервно сказал папа и посадил Славику рядом с собой. — Как же ты отдал мальчику свой лотерейный билет?.. А вдруг этот билет что-нибудь выиграл?

— Он выиграл, — сказал Славик, не переставая наблюдать за ежиком.

— То есть как это — выиграл? — тихо спросил папа, и его нос покрылся капельками пота. — Что выиграл?

— Холодильник! — сказал Славик и улыбнулся.

— Что такое?! — Папа как-то странно задрожал. — Холодильник?!.. Что ты мелешь?!.. Откуда ты это знаешь?!

— Как — откуда? — обиделся Славик. — Я его проверил по газете... Там первые три циферки совпали... и остальные... И серия та же!.. Я уже умею проверять, папа! Я же взрослый!

— Взрослый?! — Папа так зашипел, что ёжик, который вылез из-под дивана, от страха свернулся в клубок.

— Взрослый?!.. Меняешь холодильник на ёжика?

— Но я подумал, — испуганно сказал Славик, — я подумал, что холодильник у нас уже есть, а ёжика нет...

— Замолчи! — закричал папа и вскочил с дивана. — Кто?! Кто этот мальчик?! Где он?!

— Он в соседнем доме живет, — сказал Славик и заплакал. — Его Сеня зовут...

— Идем! — снова закричал папа и схватил ёжика голыми руками. — Идем быстро!!

— Не пойду, — всхлипывая, сказал Славик. — Не хочу холодильник, хочу ёжика!

— Да пойдем же, оболтус, — захрипел папа. — Только бы вернуть билет, я тебе сотню ёжиков куплю...

— Нет... — ревел Славик. — Не купишь... Сенька и так не хотел меняться, я его еле уговорил...

— Тоже, видно, мыслитель! — ехидно сказал папа. — Ну, быстро!..

Сене было лет восемь. Он стоял посреди двора и со страхом глядел на грозного папу, который в одной руке нес Славику, а в другой — ежа.

— Где? — спросил папа, надвигаясь на Сеню. — Где билет? Возьми свою колючку и отдай билет!

— У меня нет билета! — сказал Сеня и задрожал.

— А где он?! — закричал папа. — Что ты с ним сделал? Продал?

— Я из него голубя сделал, — прошептал Сеня и захныкал.

— Не плачь! — сказал папа, стараясь быть спокойным. — Не плачь, мальчик... Значит, ты сделал из него голубя. А где этот голубок?.. Где он?..

— Он на карнизе засел... — сказал Сеня.

— На каком карнизе?

— Вон на том! — и Сеня показал на карниз второго этажа.

Папа снял пальто и полез по водосточной трубе. Дети снизу с восторгом наблюдали за ним. Два раза папа срывался, но потом все-таки дополз до карниза и снял маленького желтенького бумажного голубя, который уже слегка размок от воды.

Спустившись на землю и тяжело дыша, папа развернул билетик и увидел, что он выпущен два года тому назад.

— Ты его когда купил? — спросил папа у Славика.

— Ещё во втором классе, — сказал Славик.

— А когда проверял?

— Вчера.

— Это не тот тираж... — устало сказал папа.

— Ну и что же? — сказал Славик. — Зато все циферки сходятся...

Папа молча отошел в сторону и сел на лавочку.

Сердце бешено стучало у него в груди, перед глазами плыли оранжевые круги... Он тяжело опустил голову.

— Папа, — тихо сказал Славик, подходя к отцу. — Ты не расстраивайся! Сенька говорит, что он все равно отдает нам ёжика...

— Спасибо! — сказал папа. — Спасибо, Сеня...

Он встал и пошел к дому. Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что никогда уж не вернуть того счастливого времени, когда с легким сердцем меняют холодильник на ежа.

Максимальное количество баллов – 20 баллов

ЗАДАНИЕ 2. Напишите рассказ Григория Горина от лица Савика и от лица папы. Объясните, как меняется рассказ в зависимости от того, кто становится его повествователем.

Максимальное количество баллов – 10 баллов

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
2019-2020 УЧ. ГОД**

9 КЛАСС

Участникам олимпиады предлагается выполнить два задания: аналитическое – целостный анализ предложенного текста по вспомогательным вопросам (время выполнения 3,5 астрономических часа (210 мин.), максимальный балл – 70) и творческое задание (время выполнения – 1,5 астрономических часа (90 мин.), максимальный балл – 30). Внутри общего времени (5 астрономических часов (300 мин.)) ученик распределяет количество времени для работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл за работу – 100 баллов.

ЗАДАНИЕ 1. Напишите целостный анализ рассказа Вячеслава Пьецуха «Дачники». Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на данные после него вопросы или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.

Опорные вопросы:

- 1. Как темы для разговоров характеризуют героев рассказа?**
- 2. Как соотносятся между собой жизнь дачников и жизнь природы?**
- 3. Как в рассказе проявляется авторская позиция?**
- 4. В чем смысл названия рассказа?**

Максимальное количество баллов – 70.

На берегах той самой реки Угры, где некогда государь Иван III перестоял Ахмет-хана, существует деревня Новые Михальки. Деревня, по нынешним понятиям, не маленькая, дворов в двадцать пять, плюс заброшенная зерносушилка, похожая на огромные сломанные часы и оставляющая даже несколько фантастическое впечатление, плюс небольшой пруд, наполовину заросший осокой и камышом, да еще американский школьный автобус, который много лет ржавеет посреди деревни, и вообще непонятно, как он сюда попал.

Новые Михальки замечательны тем, что, во-первых, они стоят по обоим берегам Угры, и чтобы, положим, луковицу попросить у односельчанина, реку нужно переплыть, а во-вторых, живут тут главным образом москвичи. В соседней деревне Ванино еще обитают несколько семей природных крестьян, а Новые Михальки опустели лет так тридцать тому назад, когда в Юхновском районе пошла мода на паспорта. Мало-помалу заброшенные усадьбы пораскупила приезжая публика, главным образом москвичи, заселившие правый берег, а на левом берегу по-прежнему коротали годы остатки туземного населения, именно бобыли Василий Иванович Яхонтов, бывший начальник водонапорной башни, и отставной, пастух Семен. У этих усадьбы пребывают в самом плачевном виде: на дворах валяются охваченные тлением механизмы, собаки забитые, куры тощие и едва оперенные, точно их до времени ощипали, в избы противно ступить ногой. А у дачников ничего: заборы всё новые, дома крыты шифером и выкрашены в увеселительные цвета.

Третья изба, если считать от заброшенной зерносушилки, принадлежала семье Симоновичей, состоящей из хозяина Петра Петровича, его жены Веры, дочерей Ольги и Любви и маленького кобелька по кличке Аккордеон. У этих Симоновичей чуть ли не каждый вечер собиралась компания деревенских соседей, которые почти не знали в Москве, а тут любили посидеть вместе, потолковать о том о сем. Являлись они под вечер всегда приодетыми, но на открытой веранде у Симоновичей сидели босыми, так как Вера Симонович была чистюля и у нее, когда ни зайди, свежевывмытые полы.

Итак, августовский вечер, солнце над Угрой висит низко, чуть-чуть не касаясь верхушек сосен, и является тот печальный, даже угрюмый цвет, который еще дают догорающие костры. Нагретый ветерок, почему-то пахнущий лебедой, слегка шевелит занавески из полосатого, матрасного, полотна, на той стороне чья-то собака брешет, на московской стороне кто-то завел электрическую пилу. За столом, не считая хозяев, сидят: Сережа Чижиков, чета Книгеров - Митя и Маша, и, словно в насмешку, Иван Иванович Иванов. На лицах у всех благостное выражение, даже у Веры Симонович, которая в тот день мучилась приступом язвенной болезни и гости ей были остро не ко двору. Сережа Чижиков говорит:

- Есть мнение, что мысль существует независимо от языка, - может быть, и так, но это еще вопрос. То есть мысль мысли рознь. Если мы разумеем под мыслью силу, направленную на изобретение колеса, тогда слово действительно ни при чем. Ну разве что оно необходимо в том смысле, чтобы передать кому-то знание о функции колеса. Но если под мыслью мы подразумеваем силу, способную постичь и сформулировать кате-

горический императив, то в этом случае слово и мысль неразделимы, в этом случае слово и мысль - одно! Или можно так сказать: тут мысль есть слово, а слово - мысль...

- Ну и о чем это, по-твоему, говорит? - как-то невнимательно справился Иванов, который был как раз специалист по линии языка.

Вера Симонович тем временем разливает по чашкам чай из старинного посеребренного самовара, аппарата такой ухоженности, что в него посмотретья приятно, и изо всех сил пытается не показать, что гости ей остро не ко двору. Митя Книгер читает газету поверх очков. Его жена Маша, которая тоже носит очки, наблюдает закат, и сквозь стекла с диоптриями видно, как в ее глазах набухает задумчивая слеза. Девочки Симоновичей, Оля и Люба, играли в мяч.

- Это нам говорит о том, - отвечает Сережа Чижиков, - что происхождение языка не эволюционно, а революционно, что язык есть продукт какого-то качественного скачка... Если мысль, так сказать, техническая, - продолжает Чижиков, - доступная и животным, скажем бобрам, не нуждается в слове, а мысль высокая и слово неразделимы, то законно будет предположить неземное происхождение языка...

Над Угрой откуда ни возмись низко повис туман, солнце незамедлительно ударяется во что-то золотисто-жемчужное, вдруг смолкает электрическая пила. Тогда такая наступает тишина, что слышна заунывная песнь шального, зажившегося комара.

- ...Ведь что такое, собственно, человек? Человек есть мысль, обращенная на себя. Ясно, что мысль такого накала представляет собой явление вне природы, и, следовательно, язык - это дар, ниспосланный нам неизвестно когда, неизвестно как. Если, конечно, мы с вами непоколебимо стоим на том, что мысль есть слово, а слово - мысль.

- Так-то оно так, - вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов, - да только самые древние слова на всех языках звукоподражательны, и, видимо, человек воспроизводил их так же, как это делает попугай. Например, возьмите существительное «барабан»: по-русски это будет «барабан», по-французски - «tambour», по-немецки - «Trommel», по-английски - «drum». Посему логично будет предположить как раз эволюционное происхождение языка. По той простой причине, что, осваивая звуковое средство общения, человек на первых порах работал как попугай. Какое уж тут неземное происхождение слова, если собака начинает с «гаф», человек - с «агу»!

- Но ведь собака так и обходится одним «гаф», покуда не околеет, а человек, начиная с «агу», возвышается до категорического императива, который включает в себя прямо божественные слова!

- Именно?

- Именно: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас, - у Канта это вроде бы звучит так.

...

К этому времени небо уже притухло, как керосиновые лампы тускнеют, когда кончается керосин. Первая, ярко-голубая, звезда проклюнулась и висит. За рекой, видимо на опушке леса, странно вопит какая-то ночная птица, и от этого звука всем делается немного не по себе.

- Ну так вот, - продолжает Чижиков, - человек начинает с «агу» и постепенно возвышается до осознания нравственного закона, который дан ему, как способность к прямохождению или слух. В том-то все и дело, что человек, взрослая, проходит те же этапы развития, что и человечество: от обезьяны до божества.

Иван Иванович спрашивает:

- Ну и о чем это, по-твоему, говорит?

- На мой непросвещенный взгляд, человечеству вообще зря, не по заслугам, достался дар членораздельной речи. Не понимаю, зачем ему разговаривать, если из десяти тысяч человек один - человек, а прочие так... млекопитающие, которые и говорят-то всю жизнь производными от «агу»!

- Если бы даже одному бобру из десяти тысяч бобров было чего сказать, - замечает Иван Иванович, - то членораздельной речью он бы владел не зря.

- Вот именно! - соглашается Маша Книгер. - Как бы там ни было, погоду делает тот самый один человек из десяти тысяч, достойный дара слова, который его получил не зря. Вот когда я была в Атлантик-Сити, я обратила внимание, что там у всех безумно симпатичные лица, но совершенно не с кем по-настоящему поболтать...

Чижиков тем временем гнет свое:

- Это нам говорит о том, что если человек проживает за свою жизнь всю историю человечества, если он последовательно проходит через первобытность, жестокость и самовлюбленность античности, средневековый фанатизм и так далее, - то вот что интересно: по нему можно самое отдаленное будущее человечества предсказать. Вы понимаете, к чему я клоню?

- Не совсем, - отвечает Петр.

- По крайней мере, - продолжает Чижиков, - из этого феномена со всей очевидностью вытекает, что членораздельной речью человек обзавелся прежде, чем он научился пилить-строгать. Материалисты утверждают, что слово есть следствие производственных отношений, но если Люба Симонович в три года овладевает одним из самых сложных языков в мире, а в пять лет научается завязывать шнурки бантиком, то, значит, слово есть Божий дар.

Легка на помине, Люба Симонович поднимается на веранду и начинает о чем-то шептаться с Верой. Через минуту та хлопает в ладоши и говорит:

- Так, товарищи! Сейчас у нас будет представление домашнего театра! Сценка называется «Три красавицы небес», выступают все Симоновичи, включая собачку Аккордеон.

Впервые за весь вечер из-под стола вылез взерошенный пес, нелепо оглядел компанию и зевнул.

- Кстати о четвероногих друзьях, - возглашает Митя Книгер и некоторое время молча смотрит поверх очков. - Агентство «Рейтер» сообщает, что в Гаване совершенно нечем кормить собак.

Торжественно растворяется дверь в избу, и на веранде одна за другой появляются: Вера в вечернем платье, с черепаховым гребнем в волосах, Люба, вся закутанная в белый оренбургский платок, с веером, повешенным на запястье, Ольга в материнском платье до пола и бархатной шляпке, которая налезает ей на глаза. Все трое принимают позы.

Три красавицы небес шли по улицам Мадрида... - поют Симоновичи на разные голоса и сопровождают пение довольно забавным танцем:

Донья Флора, Долорес и прекрасная Кларида.
Веселился весь народ на воскресном на гулянье,
Только нищий у ворот умолял о подаенье...

Аккордеон давился, но подвывал.

Митя Книгер зевал глазами, Чижиков, напротив, умильно наблюдал за представлением, Иван Иванович - непроницаемо, Маша смотрела в небо.

И было на что, действительно, посмотреть: уже не вечер, но еще и не ночь, небо темно-бирюзовое, в ранних звездах есть что-то воспаленное, похожее на сыпь, вся западная сторона затянута низким-пренизким серым облаком, точно кто одеяло набросил на горизонт.

Вдруг представление прерывается, Любовь начинает топтать ногами, тонко плакать и наконец убегает в дом. Вера идет вслед за ней, через минуту возвращается и объявляет:

- Люба разнюнилась оттого, что на нее никто не смотрит. Начинаем сначала! Так: все смотрим на Любовь. Петь, заводи мотив...

И опять:

Три красавицы небес шли по улицам Мадрида,
Донья Флора, Долорес и прекрасная Кларида.
Веселился весь народ на воскресном на гулянье,
Только нищий у ворот умолял о подаенье...

Вдали послышался звук мотора, и все наострили уши. Вообще тишина в этих местах такая, что любой превходящий звук слышен очень издалека.

Представление вдругорядь прерывается, но на этот раз без скандала; впрочем, по выражению лица Веры хорошо видно, что она устала прятать от гостей боль.

Чижиков говорит:

- Тут еще вот какая имеется закавыка: человеку даны готовые органы речи - например: голосовые связки, и, следовательно, он в физиологическом порядке загодя был подготовлен к речи, можно даже сказать, что человек изначально был обречен однажды заговорить.

- Так-то оно так, - вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов, - однако голосовые связки, равно как и кисть руки, - это продукт развития, и, следовательно, человек есть не только мысль, обращенная на себя, человек - это еще процесс. То есть я хочу сказать, что в течение многих миллионов лет голосовые связки сами собой развивались сообразно возможностям и потребностям языка.

- Но ведь сама способность эволюционировать в идеальном направлении есть в своем роде предопределенность, не так ли?

- Это, положим, так.

У ворот Симоновичей со скрипом тормозит «газик», принадлежащий одному чудаку из соседней деревни Ванино, по фамилии Молочков, который держал кроличью ферму, с десяток пчелиных ульев и промышленный огород. Он, подойдя к веранде, долго снимает допотопные рыжие брезентовые сапоги.

- С чем пожаловал? - спрашивает его Петр.

Молочков деликатно пристраивается с краю стола и отвечает:

- Да вот хотел спросить: вам крольчатина тушенная не нужна?

- Вроде бы не нужна...

- Тогда больше вопросов нет.

Молочков аккуратно берет со стола кусок черного хлеба и говорит:

- Рожь нынче в сапожках ходит.

Петр интересуется:

- Ну и почему нынче на рынке рожь?

- Три с полтиной за килограмм.

- Я когда была в Атлантик-Сити, - вступает Маша, - то обратила внимание, что в Америке безумно дешевые продукты питания, особенно мясо и молоко. Но черного хлеба там правда нет.

Сережа Чижиков говорит:

- Я думаю, это так следует понимать: дергаться не надо, то есть всякая деятельность, поступки, устремления - это только себе во вред. Вот, например, дети - они ничего не делают, между тем природа не знает существа более счастливого, чем дитя. Стало быть, идеальная метода существования такова: нужно расплываться, насколько это возможно, с внешними формами жизни и уйти в наслаждение от личного бытия. И ведь действительно счастье - это очень просто: счастье есть разум с его волшебными возможностями все квалифицировать и, как следствие, примирить.

- Кстати о детях, - говорит в свою очередь Иванов. - Вот лингвисты до сих пор не могут постичь феномен детского языка. Общеизвестно, что почти каждый младенец изобретает свой собственный язык, не имеющий ничего общего с родовым. Но ведь это нонсенс, чудо, это значит, что каждый сосунок - некоторым образом демиург!..

Молочков озирает компанию веселыми глазами, затем протяжно вздыхает и идет надевать свои допотопные сапоги. Через минуту его шаги слышатся уже возле калитки, но вдруг он возвращается пугательным, необычным шагом, причем на лице у него такая сложная мина, словно он только что привидение повстречал.

- Что такое? - настороженно спрашивает его Петр.

- Колеса с машины сняли. Пока я тут с вами прохладился, кто-то мои колеса уговорил.

- Да вроде бы некому у нас колеса воровать, - предполагает несмело Вера.

- Ну я не знаю... Стоит машина на кирпичках.

Молочков с минуту потоптался в растерянности и ушел. Только он ушел, как отключилось электричество, что вообще в Новых Михальках случалось довольно часто, и все как будто внезапно ослепли - такой наступил непроглядный мрак. Только звезды холодно блещут в небе да мало-помалу намечаются дымчаточерные пятна от облаков.

Долго ли, коротко ли, Симоновичи остаются одни: дети сидят на полу, Вера принимает пакетик альмагеля и после заговаривает свою язву словами, которые она вычитала в медицинском календаре. А Петр, подперев отяжелевшую голову рукой, искоса смотрит в небо и говорит:

- Каждый день одно и то же! Где, спрашивается, порыв, где горение, где полет?!

ЗАДАНИЕ 2.

Задание 2.

В истории литературы по уровню таланта принято делить поэтов на поэтов первого ряда, второго и третьего. Как бы вы разделили известных вам поэтов XVIII- начала XIX века (до 1830-х годов)? Выстроенную вами литературную иерархию поэтов обоснуйте конкретными примерами.

Максимальный балл – 30 баллов.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
2019-2020 УЧ. ГОД**

10 КЛАСС

Участникам олимпиады предлагается выполнить два задания: аналитическое – целостный анализ предложенного текста по вспомогательным вопросам (время выполнения 3,5 астрономических часа (210 мин.), максимальный балл – 70) и творческое задание (время выполнения – 1,5 астрономических часа (90 мин.), максимальный балл – 30). Внутри общего времени (5 астрономических часов (300 мин.)) ученик распределяет количество времени для работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл за работу – 100 баллов.

ЗАДАНИЕ 1. Напишите целостный анализ рассказа писателя Юрия Казакова «Проклятый север». Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на данные после него вопросы или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.

Опорные вопросы:

- 1. Какую роль играет сопоставление севера и юга в рассказе?**
- 2. Как Вы понимаете название рассказа?**
- 3. В рассказе, казалось бы, ничего не происходит. Но на самом деле это рассказ о важных событиях в жизни героев. Каких?**
- 4. Какую роль играют чеховские мотивы в рассказе?**

Максимальный балл - 70 баллов.

Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевший и разбитый.

Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане.

Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной.

Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за каменных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли. И вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки - деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах нежным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу-рыбу с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником. Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. Мигал рубиновым глазом маяк в конце мола, и часто заходили, медленно вдвигались и застывали в порту красивые, освещенные, белые пароходы.

Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоногого, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска - на палубах, резко освещенных рабочими лампами.

- А то давай переведемся, а? - предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы.

Друг мой только скалился.

Еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев - просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры.

Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили кофе - единственный хороший кофе во всей Ялте, - смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубашках, то на это дерево. Когда нам надоело смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо-лиловыми, потом черными...

Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Ореанду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем и вечером всюду было оживленно, шумно,людно, пахло духами, пудрой, - все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей - неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.

Отчего нам было скучно, мы не знали.

И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Наконец друг мой спросил:

- Слушай, а в доме Чехова ты был?

- Не был. А что?

Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.

- Давай, старик, поедем! - предложил мой друг.- Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю.

Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш вниз, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, брэнчала и гроыхала, и воняло бензином, и шофер был почему-то неразговорчивый, мрачный.

Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу под дорогой стоял дом и флигель, и стены, выходящие на двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома засыпан был гравием. На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело, а на верхней дороге жужжали МАЗы, и душный выхлопной дымок сносило вниз к дому.

А когда мы вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть скулами.

- Ты чего? - спросил я.- Сам приехал, не тянули!

Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. И вот мы надели шлепанцы, и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа - Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески... Думаешь, вот марками занимался, радость ему была, небось слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это - ни за что бы не стал собирать.

Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка пахло выпивкой. И были они все красные, распаренные и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. Они шептались, впрочем, достаточно громко, чтобы слышать их. И было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно:

- А она его любила? Зачем он с бородой был, ему не идет. А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был.

Я скорей перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Был стенд, заваленный весь фотокарточками - вот красавец Шаляпин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа, вот узколицый Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком по верхней губе. И на всех карточках были надписи - все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому и не было вовсе лестно подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое - для потомства, для истории, словно каждый хотел сказать своей надписью: вот, мол, хоть и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвестно еще, кто кому оказывает честь - он мне, принимая карточку, или я ему - даря.

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас.

С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели, он шурясь оглядывал двор.

- Кувшины видал какие? - кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля.- Это при нем было?

- При нем,- сказал мой друг. Он все знал о Чехове.- Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали. Мы помолчали. Как-то нам стало очень грустно в этом доме и жалко чего-то.

- А сад какой! - сказал мой друг.- Это он сажал, знаешь? Очень это хорошо! А знаешь, есть такая фотография: стоит он в кабинете, у стены, возле шкафа...Я поглядел, шкаф стоит. И все как было. Вот так, старик.

Шкаф стоит... Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже оперлся плечом. Или нет? Забыл... Но он там стоял, без пенсне, очень какой-то весь черный.

Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дому... Потом все пошли к машине, повозились там с какими-то тайными приспособлениями, отомкнули ее и уехали.

- Подумать только! - с внезапной злобой сказал мой друг.- Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымалывает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. ... Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Несчастливая была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так.

Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди. А когда пришел на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь.

Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло,- хочется чего-то высокого и настоящего: музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут, и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно.

И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью - но что делать, и кто виноват, что нам плохо!

В ресторане было уж порядочно народу, когда мы пришли. Но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорей сели. Нам долго пришлось ждать ..., пока не пришел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел, а мы облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам.

Музыкантов на эстраде было трое: пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, отдыхают, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился,- мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как некоторые из них учились когда-то, ходили в музыкальную школу или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей; как разучивали концерты Моцарта и Бетховена, как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно, дружно звучащий оркестр, и они в этом оркестре, и их соло в каком-то месте симфонии. И как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось, и вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны,- и человека уже называют "чуваком", о своей игре говорят: "лабать"...

Лица у них потасканные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то, играть начинают хуже и если киксуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат.

Но эти музыканты как-то сразу понравились нам. У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые, и почему-то все выходило у них грустно.

Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо. А этот, кроме всего, был еще худ, изящен, с бабочкой и в темных французских очках. Локти, плечи, колени - все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие. Но лучше всего было лицо - аскетически худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и, как птица, слушал себя, и даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, замолкали, прислушивались.

- Почему мне грустно, старик, скажи? - спросил я.- И зачем мы пошли к Чехову? Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался съездить. У меня сердце что-то болит... Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик?

В ресторане было светло, шумно... Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться. А музыка была грустная-грустная, гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его звучала, как электроорган, а пианист... откидывал горькое свое лицо в темных очках.

- Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? - спросил внезапно мой друг.

И я тотчас вспомнил Ленинград в декабре, туманно-морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам Исаакий... И как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был весел, рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому Северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка, и как, обманув врачей, опять плавает. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане "Арктика". Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о Севере, имена Норденшельда, Нансена святые были для меня имена. Еще бы не помнить - веселое было время! И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар над каналами, снег на Медном Всаднике, тихие пасмурные утра в гостинице, когда тело звенит от сил и легкости и спрашиваешь себя: "Что мне сегодня предстоит такое хорошее?" И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись, я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел. Да, я тогда окончил мореходку и начинал жить.

- Ты это брось,- сказал я.- Брось, старик, а то и так тоска!

- А Мишку помнишь, длинного Мишку?

- Ну, помню,- сказал я.- Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. А ты брось, не вспоминай ничего!

- Он погиб два года назад, в проливе Вилькицкого. Забыл тебе совсем сказать, я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте...

- А!- сказал я.

И затосковал, а музыка наигрывала что-то печальное... А вспоминались мне почему-то дикие фактории - все, какие я видел на Севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, синие тени в трещинах, вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподнях, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сильные низкие ревы паровых гудков в тумане и безмянные по всему Северу могилы, в которых коченеют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют... Все это проходило, смешивалось, и было радостно, и холодно, и тоскливо одновременно. В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел будто бы только промяться, но я знаю - ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен.

- Спасибо! - говорит он.- Что бы вы хотели послушать?

- Как же вы к нам попали? - спрашивает мой друг скрипача.

- О ля-ля! - машинально отвечает скрипач, дрожа белками, косясь, оглядывая весь зал, кивая кому-то. - Длинная история, еще в войну.

Пианист поворачивается в нашу сторону - теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки.

- Так что бы вы хотели послушать? - спрашивает опять скрипач.

Я сразу вспоминаю один полярный поселок, осень, которую я однажды там провел, и какое все там было деревянное, а кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша, и эстрада, потолка не было, видны были все балки. Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах. Но все равно в сарае был холодный полумрак. Все сидели в одежде, мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось, и только один номер был хорош.

Вышел аккордеонист и чечёточник. Чечёточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником. И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик, и чечёточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил, и только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали однообразный стрекот "ч-ч-ч-ч-ч-ч", и звучала, звучала, звала куда-то, навевала теплую печаль эта самая французская песенка.

Чечётчника долго вызывали на бис, и он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют, другие артисты, а мне стало хорошо, и я ушел, ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все кругом было такого цвета, как гречневая каша с молоком, и только река была черная и дымилась.

И вот я вспомнил ту осень, и опять что-то встрепенулось и заняло у меня на душе, я поглядел в глаза скрипачу и сказал:

- А знаете вы вот такую штуку... Я не знаю, как она называется, но в общем вот так: та-ра-ра-ра-а-там-там... А?

- О! - скрипач улыбнулся. - Конечно! Хорошо.

- Только подольше поиграйте, ладно? - попросил я.

- Хорошо.

Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тот у него уркал и завывал тихонько, а мы все ждали, ждали, и друг мой хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное, и опускал глаза.

Наконец заиграли, и вновь ударило меня по сердцу, и завертелось, закружилось, понеслось мимо - и та осень, и зима в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть.

Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, о разговорах с друзьями, об опостылевшем море, куда нас опять почему-то тянет - стоит пожить на берегу недели две...

Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад, на Север - там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым Севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно.

И, думая обо всем этом, я поежился от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить.

- Слушай, ты, морской волкодав,- сказал я ему,- я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском, хочешь?

- Валяй! - сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее. И я рассказал ему о своей тогдашней жизни, как странно мне было напевать там вот эту песенку, - и рассказывать мне было приятно.

Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение и началось другое. Нам захотелось домой. Маяк на молу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали, - что-то маршеобразное и громкое.

Мы потолкались по набережной, настроение у друга стало хорошее, он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо.

Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах, дьявольски смелое и большое.

- Слушай,- старательно выговаривая, сказал мне друг.- Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?

- Работать, наверно,- неуверенно предположил я.

- Это грандиозно! - сказал мой друг.- И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать... Слушай, сколько нам еще осталось?

- Чего осталось?

- Быть в Ялте.

- Долго еще. Недели две.

- Так... Пошли спать, а завтра поедем в этот... как его?

- Куда?

- Как его?... А! Да черт с ним, куда-нибудь!

1964

Задание 2.

В истории литературы по уровню таланта принято делить поэтов на поэтов первого ряда, второго и третьего. Как бы вы разделили известных вам поэтов XIX века? Выстроенную вами литературную иерархию поэтов обоснуйте конкретными примерами.

Максимальный балл – 30 баллов.